



Этой книгой я начинаю трилогию «Торгаши». Название второй книги — «Солдаты плачут ночью» — строка из Сальваторе Квазимодо; третьей — «Ловушка».

Сюжеты этих книг связаны, в них участвуют одни и те же герои, но каждая — самостоятельна, и их можно читать отдельно.

А. — М. М.



Господь тебя не посылал,  
и ты обнадеживаешь народ сей ложно.

*Иеремия 28, 15*



## Откос

### I

Моя бабушка была седой, и белая прядь над лбом придавала ей рассерженный вид. Почти всегда она опиралась на бамбуковую трость с золотым набалдашником, хотя была крепка, как породистый конь. Разглядывая старые фотографии, я нахожу в ее тяжелом, бледном лице и в серых глазах, окруженных тенями, какие-то наши с Борхой черты. Борха, должно быть, унаследовал породу и жестокость. Я — бесконечную печаль.

Бабушкины руки — костлявые, с узелками, но еще красивые — были усеяны кофейными пятнышками. На указательном и безымянном пальцах правой руки она носила кольца с огромными, мутноватыми бриллиантами. После еды бабушка подвигала качалку к окну своего кабинета (духота, горячий влажный ветер бесчинствует в агавах или гонит листья каштанов по земле, к миндальным деревьям, и вздутые свинцовые тучи гасят

зеленый блеск моря) и разглядывала в старый театральный бинокль, инкрустированный фальшивыми сапфирами, белые домики на откосе горы, где жили арендаторы, или море, где не ходили корабли и совсем не было тех ужасов, о которых нам рассказывала ключница Антония. («Говорят, там, у них, целые семьи вырезают, монахов стреляют, выкалывают им глаза... бросают людей в кипящее масло... Господи, смилуйся над ними!») Невозмутимая, как всегда, бабушка слушала зловещие рассказы, только глаза ее сдвигались еще ближе, словно брат и сестра, делящиеся страшной тайной. Мы четверо — бабушка, тетя Эмилия, мой кузен Борха и я — изнывали от жары и одиночества и жадно ждали хоть каких-то вестей (война началась месяца за полтора) здесь, на острове, в самом затерянном на свете уголке — в бабушкином доме. После обеда бывало тише и тревожней всего. Скрипела качалка в кабинете, и мы представляли, как бабушка шпионит за женщинами с откоса и тусклое солнце дробится в огромных бриллиантах. Она часто говорила, что разорена, и клала в рот одну из бесчисленных таблеток, томившихся в темных флаконах на комодe, и тени четко проступали у нее под глазами, а зрачки подергивались студенистым налетом усталости. Она становилась похожа на побитого Будду.

Помню, Борха, словно по команде, срывался с места, когда бамбуковая трость, скользнув по

стене, падала на пол. Его длинные темные руки с большими, как у бабушки, суставами устремлялись вперед (только это и взрывало невыносимый покой ненужной съесты), и воспитанный мальчик кидался к непослушной трости, чтобы снова приклонить ее к стене, к качалке или к бабушкиным коленям. Когда мы — тетя, Борха и я — собирались в кабинете, как на королевском приеме, говорила только бабушка. Говорила она без интонаций, и, кажется, никто ее не слушал, каждый был поглощен скукой или самим собой. Я ждала знака Борхи, чтобы улизнуть. Тетя Эмилия часто зевала, не открывая рта — только сжимались ее большие челюсти, дергались молочно-белые щеки и увлажнялись маленькие глазки с розовыми белками. Раздувая крылья носа, стискивая зубы, она старалась изо всех сил не открыть рта — с открытым ртом зевали те, с откоса. Время от времени она говорила: «Да, мама», «Нет, мама», «Как хочешь, мама». Только это и развлекало меня, пока я ждала, что Борха чуть-чуть поведет бровями, — такой у нас был знак.

Борхе было пятнадцать, мне — четырнадцать. У бабушки мы очутились не по своей воле, и оба не находили себе места в маслянистой тишине, в лицемерном покое острова. Мы приехали на лето, и вдруг началась какая-то призрачная война — она была и далеко и близко и представлялась, быть может, особенно страшной, потому



что мы ее не видели. Наверное, Борха ненавидел бабушку, но притворяться он умел. Мне кажется, с самого раннего детства кто-то привил ему притворство. При бабушке он был благоденствен, кроток и прекрасно разбирался в словах «наследство», «деньги», «земля». Да, он умел стать кротким, когда нужно — перед кем-нибудь из взрослых. Но никогда в жизни я не видела такого отпетого вруна, предателя и мошенника; никогда не видела я и такой безысходной тоски. Перед бабушкой он играл невинного, благородного отрока; на самом же деле — Борха, Борха, только сейчас, наверное, я начинаю тебя любить! — он был слабым и надменным, ни во что не верил и слишком много знал.

Вряд ли я была лучше его. Но я хотя бы не упустила случая показать бабушке, что живу у нее против воли. Тем, кого с девяти до четырнадцати лет не передавали, словно вещь, из рук в руки и не таскали с места на место, не понять моей тогдашней ненависти и моего бунта. От бабушки я ничего не ждала: я сносила ее холодность, ее готовые фразы, ее призывы к какому-то особому, только для нее существующему богу, ее безразличные, редкие ласки и безразличные наказания. Рука в розовых и кофейных пятнышках покровительственно ложилась на мою голову, когда, перемежая речь вздохами, бабушка говорила о моем дурном отце (бесовские идеи, нечестивая

жизнь) и о моей несчастной матери (слава господу, скончалась) двум старым кошкам из поместья Сон Льюч, которые приезжали к нам в коляске. (Огромные шляпы, украшенные вялыми цветами, словно кучи отбросов, только мух не хватает.)

По бабушкиным словам, я была тогда непокорным, испорченным созданием. Меня выгнали из монастырской школы за то, что я ударила ногой директрису. Развратил меня нечестивый и мятежный дух моей семьи; погубил — отец, забывший, кто он такой, и бросивший меня после смерти матери на руки старой прислуге. Я, продолжала бабушка, обращаясь к внимательно-злобным кошкам, совсем одичала за три года, проведенных на заложенной отцовской земле, в полуразрушенном доме, с простой крестьянкой. Словом, я жила в горах, в диких лесах, среди темного быдла, без заботы и ласки. (При этих словах бабушка гладила меня по голове.)

— Мы тебя укротим, — сказала она, как только я приехала.

Мне было тогда двенадцать, и я поняла, что останусь тут навеки. Мама умерла четырьмя годами раньше, а Маурисия, моя старая няня, тяжело заболела. Бабушка, по всей видимости, брала на себя заботы обо мне.

В день моего приезда дул сильный ветер. Полусорванные вывески хлопали по дверям лавок. Бабушка привезла меня сперва в город, в мрачную

гостиницу, пропахшую сыростью и стиркой. Одно мое окно выходило во дворик, другое — в переулок, в конце которого виднелась аллея и над свинцовой полоской моря колыхались пальмы. Замысловатая железная кровать напугала меня, как незнакомый зверь. Бабушка спала за стеной. На рассвете я проснулась в испуге — я часто просыпалась так — и, протянув руку, стала шарить по столику, чтобы зажечь лампу. Помню холод беленой стены и розовый абажур. Я тихо сидела на кровати, настороженно оглядывая комнату, пугаясь собственных волос, повисших спутанными прядями и смутно темневших у меня на плече. Привыкнув к сумраку, я стала различать царапины на стенах, пятна на потолке, а главное — мудреную тень кровати. Она была как змий, как дракон, как чудище, и я почти не решалась на нее смотреть. Я наклонилась к столику, взяла стакан и вдруг на крутизне стены увидела цепочку муравьев. Стакан упал, разбился, а я с головой закуталась в одеяло. Не решаясь высунуть и палец, я долго лежала так, кусая губы и глотая постыдные слезы. Кажется, я боялась. Должно быть, я думала о том, что осталась совсем одна, и искала чего-то, не помню, чего именно. Я хотела думать о другом, погнать маленький поезд воображения по знакомым лесам и долам, зацепиться за что-то привычное (няня бережно раскладывала яблоки на чердаке, и они пахли так сильно, что и сейчас

я, глупая, понюхала стену). И сказала в тоске: «Они пожелтели, сморщились, а я ни одного не съела». Ведь к вечеру няня занемогла и велела написать бабушке — господи, зачем, зачем все так случилось? Мне удалось довести поезд памяти до золоченой решетки сада и до зеленых веток, отражавшихся в лужах (особенно — в одной, над которой вились мошки, тоже зеленые, а я стояла рядом и слышала, как меня зовут, но не отзывалась, потому что в тот день приехала бабушка, — пыль вилась над далекой дорогой, — чтобы меня увезти). Я вспомнила бурые пятна островов на бледной лазури карты в моем любимом атласе. И вдруг эта кровать, и ее перекрученная тень, к которой ползли муравьи, оказалась на желто-зеленом острове, окруженном поблекшей лазурью. Тень изгибалась за моей головой — кровать стояла почти у самой стены, — и мне было очень беспокойно. К счастью, я привезла под свитером мою тряпичную черную куклу, трубочиста Горобó, и сейчас он лежал под подушкой. Тут я поняла, что потеряла: там, в горах, в большом, ветхом доме, я забыла мой кукольный театр. (Закрыв глаза, я увидела стены из прозрачной бумаги, синее небо, синие окна, желтые окна и розовые и черные буквы на задней стенке — Детский кукольный театр. Размер 3. Декорации к спектаклям «Вифлеемская звезда», «Дух развалин» — и великую укромную тайну прозрачных окошек. Снова, как прежде,